



Максим Козлов

Ферма

# Максим Козлов

## Ферма

*<https://litres.ru/74133878>  
SelfPub; 2026*

### Аннотация

«Ферма» — жёсткая теологическая притча о двенадцати сектантах («Овцах»), которые добровольно отдают себя во власть «Пастуха». Он держит их в покорности обещанием свободы, но каждый год приносит одного в жертву — и стадо голосует камнями, поёт псалмы и не бунтует.

Случайно попавшая на ферму журналистка становится угрозой: если она сбежит, Пастух накажет всех. Он ставит выбор: умрёт чужачка или одна из Овец.

Книга в 12 «Заветов», без имён, с извращённо истолкованными псалмами в конце каждой главы. Она исследует, почему жертвы защищают палача, где грань между безопасностью и свободой и не является ли сам Бог — жестоким пастухом, а мы — скотом, идущим на заклание.

# Содержание

Завет Травы	4
Завет Крови	30
Завет Передника	51
Конец ознакомительного фрагмента.	56

# Максим Козлов

## Ферма

### Завет Травы

Земля была суха и потрескалась, как губы мертвеца.

Дорога перестала быть дорогой пять миль назад. Сначала асфальт пошёл трещинами, потом ямами, потом исчез совсем, растворился в рыжей пыли, которую ветер гнал с востока, с холмов, похожих на спины спящих быков. Пыль забивалась в радиатор, в воздушный фильтр, в горло.

Журналистка остановила машину, когда стрелка температуры поползла вправо, к красной черте, и заглушила двигатель. Тишина ударила по ушам, как ладонью. Только ветер. Только сухая трава, трущаяся сама о себя.

Она вышла. Каблук сразу ушёл в пыль на дюйм. Она сняла туфли, поставила их на сиденье, достала телефон. Сети не было. Не просто «одно деление» — пусто, крестик, мёртвый экран. Она подняла телефон над головой, покрутила, как антенну, хотя знала, что это бесполезно. Села обратно в машину. Попробовала завести. Стартер крутил медленно, умирая. Аккумулятор садился.

Она закрыла глаза и сосчитала до десяти.

Открыла.

Ничего не изменилось.

Дорога уходила вперёд, в ложбину между холмов, и там, в трёх милях, если верить карте-трёхлетке из бардачка, должно было быть что-то. Ранчо. Заправка. Может быть, телефон. Она взяла бутылку воды, сделала глоток, сплюнула пыль. Пошла пешком.

Пыль была везде. Она набивалась между пальцев ног, сухая и тёплая, как зола. Журналистка шла по колее, и колея была глубокая, с осыпающимися краями — кто-то ездил здесь часто и на тяжелой машине. Грузовик. Трактор. Что-то, что оставляет след.

Солнце стояло прямо над головой, белое, безжалостное. Она пожалела, что не взяла шляпу. Пожалела, что вообще поехала этой дорогой. Срезала по совету заправщика в последнем городе. «Так быстрее», — сказал он. «Если не сломаешься», — не сказал он.

Она шла час.

Потом увидела забор.

Забор был высокий, футов десять, из колючей проволоки, натянутой в три ряда поверх деревянных столбов. Столбы были грубо отёсаны, вбиты в землю глубоко, с подкосами. Проволока была старая, ржавая, но крепкая. Она шла вдоль дороги и уходила в холмы справа и слева, насколько хватало глаз. Забор огораживал огромный кусок земли. Или запирал кого-то внутри.

Журналистка остановилась. Инстинкт — журналистский,

старый, который не заглушить усталостью — велел смотреть и запоминать. Забор. Отсутствие указателей. Отсутствие почтового ящика, номера, таблички «Частная собственность». Просто забор.

Дорога упиралась в ворота.

Ворота были железные, сваренные из труб и листов металла, крашенные когда-то в зелёный, теперь облупившиеся до рыжего. На воротах висел замок. Большой амбарный замок, но он был открыт и висел в петле.

За воротами, в полумиле, стояла ферма.

Ферма была похожа на крепость. Главный дом — двухэтажный, из потемневшего дерева, с крышей, крытой листами жести, с трубой, из которой поднимался дым. Вокруг дома — амбары, сараи, загоны. Красные стены, белые рамы, но краска давно облупилась, и всё сливалось в один цвет пыли и старости.

Люди двигались по двору. Много людей. Они шли цепочкой, неся корзины. Одинаково одетые. Серое. У всех серое.

Она толкнула створку ворот. Та открылась с тяжёлым скрипом, который разнёсся по всей долине.

Люди во дворе замерли. Все сразу. Как птицы, когда хлопнешь дверью.

Они смотрели на неё. Их было много. Мужчины, женщины. Серые рубахи, серые штаны, серые платья до земли. Босые ноги. Грязные ступни. У мужчин — бороды, короткие, запущенные. У женщин — платки на головах, из той же се-

рой ткани. Лица загорелые, худые, одинаковые.

Она подняла руку. Открытая ладонь. «Я не враг».

— Моя машина сломалась, — сказала она громко. — Там, за холмами. Мне нужен телефон. Или механик.

Люди не двигались.

— Вы меня понимаете? — спросила она. — Я говорю по-английски. Просто машина сломалась.

Из толпы вышел мужчина. Он был выше остальных, шире в плечах, но так же худ. На поясе у него висел моток верёвки. Он подошёл ближе. Остановился в десяти шагах. Глаза у него были светлые, почти прозрачные, и смотрели так, словно он видел что-то позади неё, что-то, чего ей не дано было видеть.

— Уходи, — сказал он тихо. — Сейчас же.

— Мне нужна помощь.

— Здесь нет помощи. Уходи.

— Мой телефон не работает. Дайте мне позвонить, и я уеду.

Мужчина посмотрел на небо. Потом на дом. Потом снова на неё.

— Ты не понимаешь. Уходи, пока можешь.

Она стояла босая в пыли, со сбитыми ногами, и смотрела на него, и злилась. Она проделала такой путь. Она не собиралась уходить.

— Я хочу поговорить с владельцем.

Мужчина отступил на шаг.

— Ты говоришь с Овцой, — сказал он. — А хочешь гово-

ритель с Пастухом.

— Мне всё равно, как вы себя называете. Мне нужен телефон.

— Пастух услышал тебя.

Голос пришёл откуда-то из тени дома. Мужчина вздрогнул. Все вздрогнули. Цепочка людей сжалась, как сухой лист в огне.

На крыльцо вышел человек.

Он был одет не в серое. Чёрные брюки, заправленные в сапоги. Белая рубашка, застёгнутая до горла, несмотря на жару. И поверх рубашки — кожаный передник, длинный, до колен, промасленный, местами тёмный от засохших пятен. Руки у него были большие, жилистые, с коротко остриженными ногтями. В одной руке он держал посох — длинную палку из тёмного дерева, отполированную до блеска в том месте, где лежала ладонь. Посох был окован медью на конце, и медь блестела на солнце, как золото.

Но лицо.

Лицо было главным.

Оно было старым и молодым одновременно. Гладкая кожа, почти без морщин, но что-то в выражении — вечная усталость, вечная скука, вечное знание. Глаза светлые, как у того мужчины, но другой породы. У мужчины были глаза скота. У этого — глаза волка. Или чего-то хуже, чем волк. Чего-то, что не убивает сразу.

У него не было бороды. И волосы были короткие, седые,

аккуратно подстриженные. Углы губ чуть приподняты, но не в улыбке. В презрительном удовлетворении. Так человек смотрит на насекомое, которое ведёт себя именно так, как он предсказал.— Дитя, — сказал он. Голос был тихим, но каждый слог падал в тишину, как камень в колодец. — Ты стоишь на освящённой земле.

Потом была комната.

Её привели в дом. Не тащили, не толкали — просто Пастух кивнул, и цепочка разомкнулась, и она пошла сама, потому что выбора не было. Телефона не было. Машина не заводилась. До города — шестьдесят миль. Она пошла.

Комната была на втором этаже. Небольшая, но чистая. Белёные стены. Узкая койка с серым одеялом. Стол. Кувшин с водой. Лампа с керосиновой горелкой. Икона в углу. От иконы пахло маслом, горьким и густым. На иконе был изображён человек с посохом, стоящий над стадом. Лицо стёрлось.

— Отдыхай, — сказал Пастух с порога. — Завтра поговорим о твоей машине. Сегодня поздно. Еду принесут.

И дверь закрылась.

Замка не было. Но она слышала, как он стоит за дверью, не двигаясь. Дышит. Или не дышит. Трудно сказать. Дерево было толстое, звуки тонули в нём.

Она села на койку. Пружины скрипнули. Где-то внизу, в доме, скрипнуло что-то ещё, как эхо. Дом слушал.

Она подошла к окну. Окно выходило во двор. Солнце садилось, и длинные тени ползли от амбаров, от забора, от лю-

дей. Люди всё ещё были во дворе. Они стояли на коленях полукругом. Пастух шёл между ними. Он останавливался перед каждым, клал руку на голову и что-то говорил тихо, почти шёпотом. Слова тонули в расстоянии, но она видела, как люди вздрагивали, когда он прикасался к ним. Как напрягались их плечи. Как они сдерживали желание отшатнуться и не смели.

Она насчитала двенадцать человек. Семь мужчин, пять женщин. Разного возраста. Старшему, наверное, было под шестьдесят, хотя точный возраст трудно было угадать на таком лице — стёртом, как икона. Младшему — может быть, шестнадцать. Мальчик с длинными руками и выпирающими ключицами стоял последним в ряду и дрожал, когда Пастух приблизился.

Она думала о том, что видит.

Культ? Коммуна? Закрытая религиозная община? В Штатах их полно, особенно в глуши. Амиши, мормоны-фундаменталисты, кто-то ещё, кто ушёл от мира и живёт по своим законам. Ничего необычного. Полигамия, патриархат, строгие правила. Обычная история для провинциальной газеты.

Но что-то было не так. Что-то в том, как они стояли на коленях в пыли, босые, в одинаковом сером, и ждали прикосновения.

Она отошла от окна.

Еду принесла женщина. Постучала, вошла, не поднимая глаз. Поставила на стол миску с похлёбкой, ломоть хлеба,

кружку воды. Развернулась уйти.

— Как тебя зовут? — спросила Журналистка.

Женщина замерла у двери. Ей было лет тридцать. Лицо бледное, без следов косметики, без следов улыбки. Под левым глазом — тонкий шрам, старый, побелевший.

— У нас нет имён, — сказала она. — Я Овца.

— Это не имя.

— Это всё, что у меня есть.

— Ты здесь родилась?

Молчание.

— Тебя сюда привезли? Ты можешь уйти?

Женщина резко вскинула голову. В глазах был страх, но не перед вопросом. Другой страх.

— Не спрашивай, — сказала она шёпотом. — Не говори со мной. Ты не понимаешь. Ты гостя. Завтра уедешь. А мы остаёмся. Не делай нам хуже.

И вышла.

Журналистка поела. Похлёбка была горячая, с овощами и чем-то вроде козлятины. Хлеб — грубый, но свежий. Вода пахла железом. Она поела, потому что была голодна, и потому что тело требовало, и потому что надо было думать. Думать на пустой желудок трудно.

Она легла на койку, не раздеваясь. Смотрела в потолок. Потолок был из грубых досок, между ними — паутина, старая, запылённая. В углу, у иконы, трепетала лампада. Масло потрескивало. Тени метались.

Где-то в доме запели.

Голоса были тихие, монотонные. Они тянули одну ноту, потом другую, чуть выше, и это было похоже на ветер в трубе. Слов она не разбирала. Может быть, слов и не было — только звук. Только молитва без содержания, форма без смысла.

Она закрыла глаза.

Утром она уйдёт. Найдёт телефон. Или пойдёт пешком до шоссе. Шестьдесят миль — это два дня. С водой можно. Она уже делала такое в Андах, когда делала репортаж о кофейных плантациях. Выживала.

Она заснула под пение, и ей снилась вода.

Утро началось с колокола. Не церковного — грубого, железного, подвешенного на столбе во дворе. Глухой удар, другой, третий. Металл бился о металл, и звук был тревожный, не благовест — набат.

Она проснулась, села, нащупала туфли. Пыль на полу была холодной. Светало. За окном — серое небо, ещё без солнца, но уже светлое, как разбавленное молоко.

Она спустилась вниз. Лестница скрипела под каждым шагом. Внизу была большая комната — общая столовая. Длинный стол, лавки. Стены увешаны высушенными травами, пучками полыни и шалфея. Пахло дымом, старым деревом и ещё чем-то — сладковатым, тошнотворным.

Люди уже сидели за столом. Все двенадцать. Прямые спины, руки на коленях. Перед каждым — миска и ломоть хле-

ба. Никто не ел. Пастуха не было.

Она села на свободное место, с краю. На неё не смотрели. Смотрели в свои миски.— Где Пастух? — спросила она.

Никто не ответил.

— Он ест с вами?

Тишина.

Овца справа от неё — мужчина с седыми висками, тот, что говорил с ней у ворот — чуть заметно покачал головой. Не отрицание. Предупреждение.

Тяжёлые шаги раздались откуда-то снаружи, с крыльца. Потом дверь открылась, и вошёл Пастух.

Он был в том же переднике, что и вчера. Только теперь на переднике она увидела свежие пятна. Тёмные, влажные. Он снял перчатки — длинные кожаные перчатки до локтя — и положил их на скамью у двери. Потом подошёл к столу и сел во главе.

— Благословен день, — сказал он негромко. — Благословен труд. Благословенна жертва.

— Благословенна жертва, — повторили все двенадцать голосов хором, и Журналистка вздрогнула, потому что это было как одна машина, одна глотка, одно существо из двенадцати голов.

— Ешьте, — сказал Пастух. И все начали есть, одновременно, как по команде.

Она тоже ела. Хлеб. Вода. Внутри всё сжималось, но она заставляла себя жевать и глотать. Надо было держать лицо.

— Сегодня я посмотрю твою машину, — сказал Пастух, не глядя на неё. — После утренней молитвы. Молитва — сначала. Машина — потом.

— Спасибо, — сказала она. — Я ценю гостеприимство. Но мне нужно уехать как можно скорее. У меня сроки. Я журналист.

Впервые он поднял на неё глаза. Медленно, как поднимают ружьё.

— Журналист, — повторил он. — Ищущая. Свидетельствующая. Записывающая. Хорошо. Ты увидишь молитву. Ты запишешь.

Это не было предложением.

— Я не...

— Ты увидишь молитву, — сказал он. Голос не изменился. Те же тихие ноты, то же назидательное спокойствие. Но что-то в комнате сжалось. Люди за столом перестали жевать. Мгновение висело в воздухе, как нож.

— Хорошо, — сказала она. — Я увижу.

Молитва проходила в сарае.

Сарай был самый большой из всех построек, дальний от дома, почти у самого забора. Высокий, без окон, с широкими воротами, распахнутыми настежь. Внутри пахло сеном, животными, кровью. Земляной пол был утоптан до твёрдости камня. Вдоль стен стояли деревянные скамьи. В центре — возвышение, деревянный помост, покрытый грубой серой тканью.

На возвышении лежала Овца.

Женщина. Та, что приносила еду вчера вечером.

Она лежала на спине, раскинув руки, и её запястья и лодыжки были привязаны к кольцам, вбитым в помост. Рот был завязан полосой серой ткани. Глаза открыты, и в них стоял ужас, но ужас был не свежий. Ужас был старый, устоявшийся, как вода в цистерне. Она ждала этого. Она знала.

Вокруг помоста стояли Овцы. Все одиннадцать. Лица белые, как известь на стенах.

Пастух стоял у изголовья. Он снял передник и остался в белой рубашке. В руках у него был нож — длинный, изогнутый, с костяной рукоятью. Лезвие блестело в свете масляных ламп, развешанных по стенам. Он поднял нож над головой.

— Что вы делаете? — крикнула Журналистка. Голос сорвался, прозвучал визгливо, беспомощно. — Остановитесь! Это же человек!

Никто не обернулся.

Она бросилась к помосту. Чьи-то руки перехватили её, сжали предплечья. Овца 3, тот самый мужчина с верёвкой на поясе. Держал крепко, без труда, как держат курицу.

— Не вмешивайся, — прошипел он в ухо. — Будет хуже. Тебе и ей. Просто смотри.

— Это жертвоприношение, — сказал Пастух громко, и голос его заполнил сарай. Он смотрел не на Журналистку. Он смотрел на Овец. — Это Господня воля. Мы — Его стадо. Он даёт нам жизнь и забирает её, когда пожелает. Сегодня

Он желает забрать Овцу 4. Она служила хорошо. Она примет смерть с благодарностью. И мы примем её смерть с благодарностью, ибо без жертвы нет искупления. Без крови нет очищения. Без смерти нет жизни.

— Аминь, — сказали Овцы. Губы их двигались, но глаза были стеклянные. Овца 3 сжимал её руки и повторял вместе со всеми: — Аминь.

Пастух опустил нож.

Женщина на помосте закричала сквозь повязку. Крик был глухой, придушенный, но тело её изогнулось дугой, и верёвки натянулись до треска. Кровь пошла сразу — алая на сером, густая, парная. Пастух работал методично, как мясник. Не торопясь. Сначала — грудная клетка. Потом — живот. Он что-то пел — низко, гортанно, на языке, который Журналистка не понимала. Слова были древние, шершавые, как камни.

Она пыталась отвернуться. Овца 3 держал ей голову.

— Смотри, — шептал он. — Ты хотела увидеть. Смотри.

Пение становилось громче. Овцы подпевали. Их голоса сливались в гул, и в гуле тонул предсмертный хрип. Кровь текла на земляной пол, впитывалась в сухую землю быстро, жадно, как вода. Пастух поднял что-то из развороченной грудной клетки — влажное, бьющееся — и показал собравшимся. Сердце.

— Вот агнец, — сказал он. — Примите тело его и кровь его.

Он положил сердце в медную чашу, стоявшую у подножия помоста. Потом вытер нож о серую ткань, прикрывавшую тело. Тело уже не двигалось. Глаза женщины были открыты и смотрели в потолок, туда, где в стропилах запуталась паутина и солома.

Всё кончилось.

Тишина упала.

Пастух повернулся и посмотрел на Журналистку. Лицо его было спокойно, даже благодушно.

— Ты спросила вчера, — сказал он, — что мы здесь делаем. Теперь ты видела. Теперь ты знаешь.

Она не могла говорить. Челюсти свело. К горлу подступила желчь, и она сглотнула её, давясь.

— Отпусти её, — сказал Пастух Овце 3. И её отпустили. Она упала на колени, прямо в пыль, пропитанную кровью, и её вырвало.

— Отведите её в дом, — сказал Пастух. — Пусть отдохнёт. А потом мы починим её машину.

И добавил, глядя ей в глаза:

— Ты уедешь. Но ты никогда не забудешь то, что видела. Потому что это правда. А правда всегда остаётся. Правда — это нож, который входит однажды и остаётся в ране навсегда.

Её отвели в комнату. Заперли. На этот раз она слышала, как снаружи задвинули засов.

Она упала на койку и лежала, глядя в потолок, и перед глазами всё ещё стояло то, что она видела. Руки тряслись.

Она спрятала их под себя, прижала к животу. Пыталась думать.

Это было убийство. Ритуальное убийство, свидетелем которого она стала. Двенадцать человек участвовали добровольно. Ещё одиннадцать теперь — они не пытались остановиться. Они пели.

Она была журналистом. Она знала, как работает мир. Она писала о картелях в Мексике, о торговле людьми в Непале, о тюрьмах в Гуантанамо. Она думала, что видела всё. Она не видела ничего.

Снизу снова слышалось пение. Тихое, заунывное. Она заткнула уши. Не помогло. Пение проникало сквозь пальцы, сквозь стены, сквозь плоть.

Через час — или два, она потеряла счёт времени — дверь открылась. Вошла Овца. Другая женщина, моложе той, убитой. Совсем юная, может быть, девятнадцать лет. Поставила на стол миску с едой.

— Убирайся, — сказала Журналистка хрипло. — Убирайся к чёрту.

Девушка не ушла. Она стояла и смотрела. Потом заговорила тихо, быстро, словно выплёвывая слова, которые слишком долго держала во рту.

— Ты можешь бежать, — сказала она. — Сегодня ночью. Когда все уснут. Я открою засов. Беги на восток, вдоль ручья, там есть брод через болото, он не огораживает болото, слишком глубокая грязь для столбов. Через две мили выйдешь к

старой ферме Уилерсов, там никто не живёт, но в колодце может быть вода, и оттуда десять миль до трассы. Беги. Он убьёт тебя, если ты останешься.

— Почему ты мне помогаешь?

Девушка взглянула на неё, и в глазах была пустыня. Ни надежды, ни отчаяния, ничего живого.

— Потому что сестра, которую убили сегодня, была моя мать. И потому что я не могу бежать сама. Но ты можешь. Беги. Ради неё. Ради меня. Чтобы кто-то узнал. Чтобы кто-то остановил это.

— Беги со мной.

— Не могу.

— Почему?

Девушка подняла подол серого платья. Под ним, на голой ноге, было клеймо — шрам, глубокий, белый, в форме буквы. Латинская «Р». Pastore. Пастух.

— Я не могу уйти, — сказала она. — Он всегда находит своих. У него есть чутьё. Как у собаки. Но ты — чужая. Ты не его. Он не знает твой запах. У тебя есть шанс. Беги.

И она ушла. Засов задвинулся снова.

Журналистка ждала ночи.

Она лежала в темноте и слушала, как затихает дом. Шаги улеглись. Пение смолкло. Окна стали чёрными. Только внизу, в столовой, горела лампа, и тени метались по стенам — там кто-то ещё не спал. Может быть, Пастух читал свою чёрную книгу. Может быть, просто сидел и смотрел в темноту.

Когда всё стихло, она встала. Подошла к двери. Нажала. Засов был открыт.

Она выскользнула в коридор. Половицы скрипели, но тихо, как дышит старый дом во сне. Лестница. Вниз. Мимо столовой — лампа горела, но никого не было. Входная дверь. Не заперта.

Она вышла во двор.

Ночь была холодной. Луна стояла высоко над холмами, и всё было залито серебряным светом, резким, как лезвие. Пыль под ногами была белой. Сарай, где утром убили женщину, был чёрен и молчалив. Она пошла на восток, как велела девушка. Мимо амбаров. Мимо курятника, где спали куры, нахохлившись. Мимо козьего загона — козы смотрели на неё прямоугольными зрачками, жевали пустоту.

Ручей был там, где сказали. Узкий, с рыжей водой, заросший камышом. Она пошла вдоль него, пригибаясь. Болото начиналось сразу за поворотом. Ноги ушли в грязь по щиколотку, потом по колено. Она продиралась сквозь камыш, задыхаясь, чувствуя, как сердце колотится где-то в горле. Страх гнал её вперёд. Физический, животный страх, сильнее разума. Страх добычи.

Сзади, с фермы, раздался колокол.

Тот же железный звон, что утром. Но теперь — среди ночи. Он бил часто, тревожно. Бил, бил, бил.

И в камышах зажглись огни.

Факелы. Они приближались с трёх сторон. Она слышала

шаги, хлюпанье грязи под ногами, тяжёлое дыхание преследователей. Они знали. Они ждали. Девушка предупредила её — или предупредила Пастуха? Она не знала. Уже не имело значения.

Они окружили её у старой ивы, склонившейся над ручьём. Восемь или девять Овец. В руках — факелы и колья. Лица твёрдые, решительные. Как тогда, в сарае. Она стояла по колено в болотной жиже и смотрела на них.

— Вы же люди, — сказала она. — Вы же понимаете, что он делает. Зачем? Зачем вы ему помогаете?

Овца 3 шагнул вперёд. Тот самый, с верёвкой.

— Ты не понимаешь, — сказал он. — Если она сбежит, — он указал на неё, но обращался к другим, — он накажет всех. Ты слышала, что он сказал утром. Без жертвы нет очищения. Если уйдёт чужая, он возьмёт одного из нас. Может, меня. Может, моего сына. Может, твою дочь, Мария, может, твою, Елена. Вы этого хотите? Молчание.

— Мы не убиваем тебя, — сказал он ей. — Мы возвращаем тебя. Это для твоего же блага. И для нашего.

Она пыталась бежать прямо через болото, но грязь держала, как клей. Они настигли быстро. Ударили, не сильно, но достаточно. Она упала лицом в воду. Её подняли, связали руки той же верёвкой, что висела на поясе у Овцы 3. Повели обратно.

Она думала: почему они? Почему они защищают убийцу? Почему сами ведут на убой, поют, молятся, едят хлеб, смо-

ченный кровью своей сестры?

Она знала из книг. Стокгольмский синдром. Выученная беспомощность. Цикл насилия. Слова были точные, клинические, правильные. Но там, в болоте, под луной, под звон колокола, слова не работали. Слова были пусты. Что-то другое двигало этими людьми. Что-то древнее, что жило в людях с тех пор, как первый вождь поднял первый нож.

Когда её привели на ферму, Пастух ждал на крыльце.

Он стоял в своей белой рубашке, без передника, без перчаток. Просто человек с посохом. Луна освещала его лицо, и оно казалось лицом статуи — вечным, бесстрастным. Без злобы. Без торжества. Только знание.

— Ты хотела уйти, — сказал он.

Она молчала.

— Ты не можешь уйти, — сказал он. — Потому что ты уже здесь. Ты уже видела. Ты уже часть стада.

— Я не часть стада, — сказала она сквозь зубы. — Я человек. У меня есть имя. У меня есть жизнь.

— Имя, — повторил он задумчиво. — Жизнь. Скажи, человек с именем: когда ты умрёшь, кто вспомнит это имя через сто лет? Кто напишет его на камне? Никто. Имя — пыль. Жизнь — трава, сегодня есть, завтра нет. Мы все — трава. Но стадо — вечно. Я — вечен. Служение — вечно. Ты бунтуешь против того, чего не можешь изменить. Это глупо.

— Я напишу о вас. Я напишу так, что вас найдут. Вас посадят в клетку, как животное.

Он улыбнулся. Медленно, печально.

— Ты думаешь, это место где-то на карте? Ты думаешь, сюда придет полиция, наденет наручники, и всё кончится? Нет. Это место — везде. Это место в каждой душе. Ты можешь сжечь эту ферму дотла, но ты не сожжёшь то, что здесь растёт. Оно прорастёт снова. В другом месте. С другими Овцами. С другим Пастухом. Потому что это — правда, а правду не убить.

— Какая правда? — крикнула она.

Он наклонился близко. Она почувствовала его запах — масло, кровь, старая кожа.

— Та правда, что всё, что ты видишь снаружи — государство, закон, мораль, права — это краска. Тонкая краска на лице трупа. Под ней — вот это. Стадо и Пастух. Жертва и нож. Так было, так есть, так будет. Вы придумали демократию, чтобы спрятаться от правды. Но она всегда возвращается. Потому что Бог — не добрый пастырь. Бог — это голод. А мы — его пища. И всё, что мы можем — выбрать, как нас съедят: быстро или медленно, с песней или с криком.

Он выпрямился и кивнул Овце 3.

— Отведите её в молельный сарай. Сегодня она будет молиться отдельно. Пусть подумает.

Её повели. Дверь сарая была открыта. Помост, на котором утром лежало тело, был пуст. Только пятно. Тёмное, замытое водой, но не отмытое до конца.

Её привязали к тому же кольцу у помоста — не туго, про-

сто чтобы не убежала. Оставили гореть лампу, воду в кружке, ломоть хлеба. Как зверю в клетке. Как Овце.

Она села, прислонилась спиной к сухому дереву и стала думать: как убить Пастуха.

Ближе к утру она уснула — или провалилась в то забытё, которое приходит, когда тело уже не может бодрствовать. Проснулась она от скрипа двери.

В проёме стоял мальчик. Младший из двенадцати. Тот, кого она заметила в первый день, с длинными руками и острыми ключицами. Ему было лет шестнадцать, может, семнадцать. Он боялся. Боялся каждую секунду своей жизни — это было видно по тому, как он стоял, ссутулив плечи, прижимая локти к бокам, словно пытаясь занимать меньше места.

— Зачем ты тут? — спросила она шёпотом.

— Пастух велел принести еду. И проверить пути.

— Как тебя зовут? Да не говори «Овца». У тебя должно быть имя. До того, как ты попал сюда.

Мальчик колебался. Потом прошептал едва слышно:

— Бен. Меня звали Бен.

— Бен. Ты помнишь жизнь до фермы?

— Да. У меня была мать. Она... она умерла здесь. Пять лет назад. Её выбрали. Как сегодня выбрали жену Овцы 3. Она тоже была моей матерью, но не та, первая. Вторая. Настоящая.

— Здесь все друг другу родственники?

— Да. Пастух... он соединяет. Овец. Раз в году, весной, он выбирает пары. Чтобы плодились. Дети — новые Овцы. Я родился здесь. Мой отец — Овца 2. Но он не говорит со мной. Говорить с детьми нельзя, пока Пастух не объявит их взрослыми.

— А ты хочешь стать взрослым?

Он посмотрел ей в глаза.

— Я хочу умереть, — сказал он, просто, как говорят «я хочу пить». — Но я не могу. Пастух говорит: самоубийство — грех против стада. Если кто-то убьёт себя, вместо него убьют двоих. За одного — две жертвы. И я не могу. Я не могу взять с собой ещё двоих.

По щекам его текли слёзы. Беззвучно. Он вытер их серым рукавом и отступил на шаг.

— Ты ещё не совсем умерла? — спросил он вдруг шёпотом, почти детским. — Там, внутри?

— Я жива, — сказала она. — Очень жива.

— Тогда слушай. Через четыре дня — Судная Ночь. Пастух объявил сегодня утром. Он сказал: чужая пришла как знак. Знак, что стадо должно очиститься. В Судную Ночь он выберет одного. Он всегда выбирает. Но теперь он сказал: вы выберете сами. Голосованием. И все боятся. Все шепчутся. Никто не хочет быть выбранным. А ещё он сказал: или вы выберете одного из стада, или жертвой станет чужая. Ты.

Он замолчал. В сарае было тихо, только мышь скреблась где-то в соломе.

— Когда они начнут выбирать, — сказал он, — если начнут... я думаю, они выберут тебя. Не потому что ненавидят. Потому что ты чужая. Ты не одна из них. Легче отдать чужую. Легче спасти свою шкуру.

— А ты? — спросила она. — Ты будешь голосовать?

Он долго смотрел на свои босые ноги, на верёвку, которой она была привязана к кольцу.

— Я не знаю, — сказал он. — Я трус. Я всегда был трус. Но я не хочу, чтобы тебя убили.

— Тогда помоги мне ещё раз. Не ночью. Сейчас. Развяжи верёвку.

— Он убьёт меня.— Он убьёт тебя в любом случае. Может, не сегодня. Может, через год. Но ты сказал — ты хочешь умереть. Умри, спасая кого-то. Разве не лучше? Мальчик смотрел на неё, и в глазах его что-то боролось — что-то маленькое, слабое, почти задушенное, но ещё живое. Потом он шагнул к ней и начал распутывать узел. Пальцы дрожали, не слушались.

— Я не развяжу, — шептал он, плача. — Он затянул морским узлом. Нужен нож...

Дверь распахнулась.

Пастух стоял на пороге. За его спиной — серый свет утра, и в этом свете он казался огромным, выше человеческого роста. Рядом с ним стоял Овца 3. Лицо у 3 было каменным, но что-то подёргивалось в щеке.

— Хорошо, — сказал Пастух тихо. — Хорошо, что я при-

шёл посмотреть. Бен. Мальчик мой. Ты предал стадо.

— Нет, — прошептал Бен. — Нет, я только...

— Ты развязывал чужую. Ты хотел выпустить её. Акт бунта. Акт отпадения.

Пастух вошёл в сарай. Он не спешил. Он подошёл к мальчику, взял его за подбородок и приподнял лицо. Посмотрел в глаза. Долго.

— Ты боишься, — сказал он. — Это хорошо. Страх — знак того, что душа ещё слышит Пастуха. Но страх без послушания — плевел. Плевелы нужно вырывать.

Он отпустил мальчика и посмотрел на Овцу 3.

— Уведи его в Дом Тишины. На хлеб и воду. До Судной Ночи. Там решится, что с ним делать.

Овца 3 кивнул и взял мальчика за плечо. Бен не сопротивлялся. Он обмяк, как кукла, и дал себя увести. Только у порога обернулся и посмотрел на Журналистку. В этом взгляде было: извини, я пытался, я ничего не могу.

Пастух и Журналистка остались вдвоём.

— Ты пытаешься разрушить мой дом, — сказал он. — Ты говоришь с моими Овцами. Ты сеешь сомнение. Это заразно. Как болезнь. А я должен заботиться о здоровье стада.

— Я не вещь, — сказала она. — И они не вещи. Сколько ещё ты будешь убивать? Сколько имён ты закопал под этим сараем?

— Тысячи, — сказал он. — И закопаю ещё тысячи. И не только я. Везде, где люди, — там Пастух. Везде, где власть,

— там нож. Ваши президенты, ваши жрецы, ваши боги. Вы думаете, что ушли от этого? Вы просто переодели стадо в костюмы. Переименовали жертву в «социальную справедливость». Назвали нож «прогрессом». Но вы каждую весну приносите кого-то в жертву. Просто вы не видите крови, потому что она далеко. В другой стране. В другой семье. В другой камере.

— Это бессмысленно. Ты убиваешь ради убийства. Твой бог — психопат.

— Да, — сказал он, и впервые в его голосе прозвучало что-то, похожее на усталую нежность. — Мой бог — психопат. И твой — тоже. Просто ты ещё не поняла. Ты думаешь, если молиться по-другому, бог изменится? Нет. Нож всегда в руке. Вопрос только в том, кого режут сегодня.

Он повернулся и пошёл к выходу.

— Готовься к Судной Ночи, — бросил он через плечо. — И помолись своему богу. Может, он ответит. Мой отвечает всегда.

В тот вечер ей принесли еду, но принесли молча. Овца 5, молодая женщина, не та, что вчера, другая. Поставила миску и ушла, не сказав ни слова. Но в миске, под ломтём хлеба, лежал кусок верёвки и записка на обрывке серой ткани. «Дом тишины за овчарней. Два окна. Одно без решётки. Завтра ночью».

Она не знала, от кого записка. Может, от той же девушки, что шептала ей про болото. Может, от жены Овцы 3, у

которой убили мать. Может, от самого З, который весь день стоял с каменным лицом, а под камнем — трещина. Может, это ловушка. Но терять было нечего.

Она ждала завтрашней ночи. Она не спала.

А где-то на ферме, под пение псалмов, которые Пастух пел искажённым, перевёрнутым смыслом, готовилась Судная Ночь.

Так кончается первая глава.

Ибо Пастух знает стадо своё, и стадо знает Пастуха своего, и нет среди них невинных, и нет праведных, и все идут на бойню, и все точат ножи.

*Псалом 43:22 — «Но за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обречённых на заклание»*

# Завет Крови

Дом Тишины стоял за овчарней.

Это был низкий сруб, почерневший от времени и сырости, с плоской крышей, крытой дёрном, на котором росла сухая трава. Ни трубы, ни фонаря. Слепые окна смотрели на забор, на холмы, на восток, где каждое утро поднималось солнце и каждое утро не приносило ничего, кроме страха.

Внутри было две комнаты.

В первой — стол, скамья, ведро. Во второй — нары, солома, цепь.

Бен лежал на соломе и слушал тишину.

Тишина здесь была не как везде. В скотном дворе всегда были звуки: блеяли козы, кудахтали куры, скрипел колодезный ворот. В общем доме звучали шаги, молитвы, шёпот. В поле — ветер и песня, потому что Пастух велел петь за работой. «Пойте, — говорил он, — ибо Господь слышит голос трудящихся. Молчание — гнездо дьявола».

Но здесь, в Доме Тишины, дьяволу было бы негде свить гнездо. Здесь тишина была такой густой, что в ней тонули мысли. Бен лежал и смотрел в потолок, и потолок был серый, как небо перед грозой, и такой же тяжёлый.

Он пытался молиться. Слова не шли.

«Пастух мой, Пастырь мой, не оставь меня...» — он знал молитвы наизусть. Каждое утро, каждый вечер, каждый при-

ём пищи. Десять лет он повторял их. Десять лет, с тех пор как мать умерла, а его перевели из женской половины в общую. Сперва молитвы были просто звуками, потом — привычкой, потом — единственным, что держало голову над водой. Но сейчас — сегодня — слова стали пустыми. Как орехи, из которых выели сердцевину.

«Пастух мой...» — начал он снова, и осёкся.

Какой пастух? Тот, что убил его мать? Тот, что стоял над ней с ножом и улыбался, пока она кричала? Тот, что велел ему смотреть, потому что «сын должен видеть, как Господь забирает своё»? Ему было одиннадцать. Он смотрел. Он не плакал. Пастух похвалил его за это. «Мальчик будет хорошей овцой», — сказал он Овце 2, и Бен почувствовал тогда гордость. Гордость! Теперь его мутило от этого воспоминания.

Цепь звякнула, когда он перевернулся на бок.

Цепь была длинная, в четыре звена, прикреплённая к кольцу в стене. На ноге у него был железный браслет, грубо сваренный, с острым краем, который натёр кожу до крови. Он не пытался его снять. В Доме Тишины цепи не снимали, пока Пастух не приказывал. День. Неделя. Месяц. Однажды Овца 6 сидел здесь два месяца за то, что уснул на ночной страже. Вышел седым.

Ночь прошла, и день прошёл, и снова ночь.

Еду приносил Овца 7. Угрюмый мужчина с родимым пятном на пол-лица, багровым, как сырое мясо. Он ставил миску с кашей и кружку воды прямо на пол, у двери, и уходил.

Говорить с заключёнными запрещалось.

Но на второй день — или на третий? Время здесь текло как патока — Овца 7 задержался. Он поставил миску, выпрямился и посмотрел на Бена.

— Не дури больше, парень, — сказал он хрипло. — Судная Ночь близко. Пастух сердит. Лучше быть тихим.

— Я ничего не сделал, — сказал Бен.

— Ты развязывал чужачку. Это бунт.

— Я просто говорил с ней.

— Говорить с ней — уже бунт. Она не из стада. Она нечистая.

— Почему? Потому что она задаёт вопросы?

Овца 7 переступил с ноги на ногу. Оглянулся на дверь.

— Не задавай вопросов, — сказал он. — Вопросы — это смерть. Твоя мать тоже задавала вопросы. Помнишь?

Бен помнил. Смутно, как сквозь мутное стекло. Мать что-то говорила Пастуху. Что-то о детях. О том, что младенцев не нужно приносить в жертву, что есть другой путь, что Бог не требует крови невинных. Её не убили сразу. Сначала был Дом Тишины. Потом — публичное покаяние. Она стояла на коленях в пыли и кричала: «Я согрешила, я согрешила, я согрешила!» Сто раз. Потом её подняли, отряхнули, дали воды. И в следующую Судную Ночь выбрали её.

— Моя мать была права, — сказал Бен тихо. — То, что делает Пастух, неправильно.

Овца 7 побледнел — даже родимое пятно, кажется, по-

светлело.

— Не говори так. Никогда. Нигде. Ты слышишь?

— Но ты сам знаешь. Вы все знаете.

— Знать — не значит говорить. У нас у всех дети, парень.

У меня дочь. Пять лет. Если Пастух услышит такие речи, он накажет всех. Ты хочешь, чтобы мою дочь выбрали в Судную Ночь? Хочешь?

Бен замолчал. Овца 7 взял пустую вчерашнюю миску и ушёл, уже не оглядываясь. Дверь закрылась, и тишина вернулась, но теперь она была тяжелее. В ней гудел вопрос: а ты сам? Ты готов рискнуть чужой дочерью ради правды? Ты готов сказать слово, зная, что за это слово умрёт ребёнок?

Он не знал. Он был трус. Он всегда был трус.

На третью ночь пришла она.

Бен услышал скрежет у окна — того, что выходило на восток, на забор и холмы. Окно было без решётки, как говорилось в записке, но высоко, под потолком, и очень узкое. В него мог пролезть разве что ребёнок.

Скрежет повторился. Потом тихий голос:

— Бен. Бен, ты здесь?

Это была Овца 9. Молодая женщина, девятнадцать лет, дочь Овцы 4, которую убили три дня назад. Он мало знал её. Они редко говорили — мужчины и женщины общались только по благословию Пастуха, и то лишь для того, чтобы «плодиться и множиться». Но он помнил её лицо: бледное, с тёмными кругами у глаз, с губами, которые никогда не улы-

бались. Она была похожа на свою мать. Теперь — особенно.— Я здесь, — отозвался он.

— Ты цел? Он не бил тебя?

— Нет. Только цепь.

— Слушай. Завтра Судная Ночь. Пастух объявил на вечерней молитве. Он сказал: вы выберете сами. Каждый Овца бросит камень в чан. Три чана: один для чужачки, один для бунтаря, один для прочих. У кого больше камней — тот и жертва.

— Бунтарь — это я?

— Да. Он сказал: Овца, предавший стадо. Все знают, что это ты.

— Они выберут меня.

— Они выберут чужачку. Так безопаснее. Ты свой. Ты ещё можешь покаяться. А она — чужое. Чужое всегда в жертву. Так было всегда.

Бен сел. Цепь натянулась. Холодный металл врезался в лодыжку, но он не чувствовал.

— Ты хочешь, чтобы выбрали её?

— Нет. Я хочу, чтобы выбрали Пастуха.

Тишина. Даже мышь перестала скрестись.

— Это грех, — прошептал Бен. — Даже думать так — грех.

— Мою мать убили у меня на глазах. Я держала её руку, пока он... пока он резал. Она смотрела на меня и пыталась улыбнуться. Пыталась, чтобы мне не было страшно. А

он пел. Он пел свои проклятые псалмы о любви Господней. Я хочу, чтобы он умер. Я хочу, чтобы он умер так же медленно, как она.

В её голосе не было истерики. Сухая, ровная ненависть. Спокойная, как вода в глубоком колодце.

— Многие хотят, — сказал Бен. — Но никто не сделает. Мы не можем. Мы Овцы.

— Овцы могут забодать, если их много. И ещё. Чужачка готовит что-то. Она не сдаётся. Я говорила с ней сегодня утром, когда носила воду в сарай. Она спросила про ножи. Где Пастух держит ножи.

— Зачем?

— Не знаю. Но она не боится. Или боится, но делает. Это разное. Я всю жизнь боялась и ничего не делала. Она делает.

Бен подумал о Журналистке — о том, как она стояла в сарае, привязанная к кольцу, с прямой спиной. Как она смотрела на Пастуха не опуская глаз. Как сказала: «Я не часть стада». Он завидовал ей. Он ненавидел её за эту смелость. За то, что она может то, чего он не может.

— Я помогу, — сказал он. — Если скажешь как.

— Завтра, перед голосованием, Пастух устроит общую молитву. Все будут в сарае. Все, кроме тебя. Но тебя, наверное, приведут тоже — чтобы ты видел, как голосуют. Если ты там будешь, будь готов. Когда начнётся голосование, жди. Она что-то сделает. Я не знаю что. Но она сделает. И тогда...

— Что тогда?

— Тогда либо мы все умрём, либо он.

Овца 9 исчезла так же тихо, как появилась. Бен остался один. Он думал о завтрашней ночи. Думал о камнях в чанах. Думал о ноже, который Пастух точит каждое утро, сидя на крыльце с оселком и маслом, мерно, методично, не торопясь. «Нож должен быть острым, — говорил он. — Жертва должна быть чистой. Страдание — да, но мучить сверх меры — грех. Всё делается с любовью».

С любовью.

Бен закрыл глаза и попытался представить мир без Пастуха. Не получалось. Пастух был всегда. Как небо. Как земля. Как смерть. Можно ли убить небо?

Утром его привели в сарай.

Двое: Овца 3 и Овца 7. Цепь сняли, надели верёвку на запястья. Вели через двор, мимо колодца, мимо овчарни, где блеяли козы, мимо кузницы, где Овца 8 раздувал мехи. Утро было серое, пахло дождём. Где-то далеко, над холмами, ворчал гром.

Сарай был полон. Все одиннадцать Овец стояли вдоль стен. В центре, на помосте, где три дня назад лежала убитая, теперь стояли три чана. Грубые глиняные горшки с отбитыми краями. Рядом — куча камней. Камни были одинаковые, речные голыши, гладкие, серые, каждый размером с кулак. Пастух любил порядок. Даже в убийстве.

Пастух уже был там. Он стоял перед помостом, в своём кожаном переднике, с посохом в руке. Лицо его было спо-

койно, даже торжественно. Как у жреца. Как у судьи. Как у бога, сошедшего на землю.

Журналистка стояла у стены. Её держали двое: Овца 1, самый старый, и Овца 5, женщина, что приносила ей еду. Она была всё в той же городской одежде — белая блузка, тёмные брюки, — но босая, туфли где-то потерялись. Лицо её было в синяках после бегства через болото. Но глаза ясные, злые, живые.

Бена поставили напротив неё.

— Сегодня благословенная ночь, — начал Пастух. Голос его звучал мягко, почти ласково. — Ночь выбора. Ночь очищения. Господь сказал Аврааму: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и принеси его во всесожжение». И Авраам пошёл. И Авраам связал сына. И Авраам занёс нож. Потому что послушание выше любви. Потому что страх Божий выше страха смерти.

Он обвёл взглядом собравшихся.

— Сегодня Господь испытывает вас. Не меня — вас. Я лишь рука Его. Я лишь голос Его. Вы сами выберете жертву. Каждый бросит камень. Каждый скажет: «Вот агнец». Каждый возьмёт на себя долю ответственности. Ибо не может быть стада без жертвы. Не может быть общины без общей крови.

Он поднял посох и указал на три чана.

— Первый чан — для Чужачки. Искусительницы, что пришла извне. Она не приняла Господа. Она сеяла сомне-

ние. Она пыталась бежать, нарушив покой стада.

— Второй чан — для Бунтаря. Овцы, что предал стадо. Сына, что пошёл против Отца. Он развязывал верёвки Чужачки. Он слушал её речи. Он впустил грех в сердце.

— Третий чан — для Прочих. Если Господь пожелает взять кого-то из верных, вы назовёте имя. Любое имя. Кроме моего, ибо я не Овца. Я Пастух.

Он замолчал. Тишина была тяжёлая, масляная, как вода перед грозой.

— Но помните, — продолжал он тише. — Если вы выберете Чужачку, Бунтарь останется жив, но будет наказан. Если выберете Бунтаря, Чужачка останется здесь навсегда и станет Овцой. Если выберете кого-то из верных... что ж, такова воля Господня. А теперь молитесь. Каждый внутри себя. Просите Господа направить вашу руку.

Овцы опустили на колени. Все, как один. Даже те, что держали Журналистку, опустили, и она осталась стоять — одна среди склонённых спин. Бен тоже встал на колени. Не потому что хотел. Потому что тело помнило. Тело знало: если не встанешь, будет хуже.

Он смотрел на чаны. Три горшка. Два уже почти решены. Чужачка или он. Чужачка или он. Камни, серые как лица Овец. Камни, которые решат.

И тут Журналистка заговорила.

— Ты говоришь о Боге, — сказала она громко. Голос её разрезал тишину, как нож разрезает ткань. — Ты говоришь

об Аврааме, который был готов убить сына. Но ты забыл конец этой истории, Пастух.

Он медленно повернулся к ней. Лицо его осталось спокойным, но пальцы на посохе сжались, и костяшки побелели.

— Ангел остановил Авраама, — продолжала она. — Бог не хотел жертвы. Бог сказал: «Не поднимай руки твоей на отрока». Бог не твой. Твой бог — это ты сам. Ты убиваешь, чтобы держать их в страхе. Ты убиваешь, чтобы быть богом.

— Замолчи, — сказал Пастух тихо.

— Ты не пророк. Ты — бакалейщик, который торгует смертью. Ты — мелкий тиран, который прикрывается Библией. Ты каждую весну выбираешь одного, чтобы остальные думали: «Слава Богу, не я». Это не религия. Это террор. Ты...

— ЗАМОЛЧИ.

Голос Пастуха ударил, как бич. Эхо заметалось под стропилами. Овцы вжали головы в плечи. Двое, что держали Журналистку, схватили её за руки, зажали рот ладонью. Она забилась, но держали крепко.

Пастух тяжело дышал. Впервые на лице его проступило что-то, кроме спокойствия. Гнев? Нет. Что-то другое. Что-то похожее на страх. На мгновение мелькнуло и исчезло. Он взял себя в руки. Выпрямился. Улыбнулся — одними губами.

— Господь прощает невежество, — сказал он. — Но не прощает гордыни. Ты говоришь, что знаешь Бога? Посмотрим, чей Бог сильнее. Начинайте голосование.

Первым пошёл Овца 1. Самый старый. Ему было, наверное, за пятьдесят, но выглядел он на семьдесят. Согбенный, с узловатыми руками, с седой щетиной на подбородке. Он взял камень из кучи. Постоял. Посмотрел на Пастуха. Пастух кивнул.

Камень упал в первый чан. Чужачка.

Овца 2, отец Бена, прошёл, не поднимая глаз. Его камень упал туда же.

Овца 3, тот, что говорил с ней у ворот в первый день, бросил камень в первый чан. Но рука его дрогнула. Камень звякнул о край и раскололся. Пастух пометил что-то в уме.

Овца 5 — молодая женщина со шрамом под глазом — бросила камень во второй чан. Бунтарь. Бен вздрогнул. Овца 6, её муж, бросил в первый. Чужачка.

Овца 7 — тот, что говорил с Беном о дочери, — долго стоял с камнем в руке. Смотрел на чаны. На Пастуха. На свои ноги. Потом камень упал в первый чан. Чужачка. Проходя мимо Бена, он прошептал, едва шевеля губами: «Прости».

Овца 8, кузнец, здоровый мужчина с чёрными от сажи руками, бросил камень в первый чан не глядя. Овца 9 — та, что говорила с Беном ночью, — подошла к чанам. Она смотрела на камни в первом чане, и лицо её было белое, как известь. Она разжала пальцы. Камень упал во второй. Бунтарь. Пастух прищурился. Овца 10, её муж, молодой парень с затравленными глазами, бросил в первый. Жена посмотрела на него с презрением. Он не поднял глаз.

Овца 11 — женщина в возрасте, с седыми волосами, выбившимися из-под платка, — бросила камень в первый чан. Овца 12 — пожилой мужчина, хромой, с палкой — бросил во второй. Бунтарь.

Остался Бен.

Он стоял, и верёвка на запястьях намокла от пота. Камни в его чане уже лежали: три штуки. В чане Чужачки — семь. Один камень ещё не брошен. Его камень. Если он бросит в первый чан, всё кончено: восемь против трёх, жертва определена. Если во второй — четыре против семи, всё равно она. Если в третий — назвать имя, — он может назвать Пастуха, и это ничего не изменит, его просто поднимут на смех, или на нож.

— Бросай, — сказал Пастух. — Твой черёд.

Бен взял камень. Камень был гладкий, прохладный, тяжёлый. Он посмотрел на Журналистку. Она смотрела на него. Глаза её говорили: «Не бойся. Делай, что должен». Но он не знал, что должен. Он вообще ничего не знал.

Он подошёл к чанам.

И бросил камень мимо.

Камень ударился в глиняный край, отскочил и покатился по земляному полу. Все замерли.

— Что это? — спросил Пастух. Голос был шёлковый, опасный. — Ты отказываешься голосовать?

— Я не могу, — сказал Бен. Губы у него дрожали. — Я не могу выбирать, кого убить. Это неправильно.

— Неправильно? Ты, червь, указываешь Господу, что правильно? Ты, которого я вырастил, накормил, научил молитвам?

Пастух шагнул к нему. Каждый шаг отдавался в земляном полу. Овцы расступились. Бен стоял, не в силах двинуться.

— Ты думаешь, твой отказ что-то меняет? — тихо сказал Пастух, приблизив лицо к его лицу. — Ты думаешь, если ты не бросишь камень, ты чист? Ты грязнее всех. Они хотя бы честны в своём страхе. А ты — ты предатель. Ты предал стадо дважды. Сначала — помогая ей. Теперь — отказываясь подчиниться.

Он отступил и обратился ко всем.

— Голосование окончено! — провозгласил он. — Жертва выбрана. Чужачка. Но Бунтарь не останется без наказания. Он будет смотреть. Он будет смотреть, как умирает та, кого он пытался спасти. И будет знать: её кровь — на его руках. И ваша тоже. Потому что вы выбрали.

Он поднял посох и ударил им о помост. Глухой звук разнёсся под сводами.

— Готовьте жертву! — приказал он.

Журналистку поволокли к помосту.

Она не кричала. Она боролась молча, яростно, пытаясь вырвать руки, лягаясь, кусаясь. Овца 8, кузнец, получил удар пяткой в колено и выругался сквозь зубы. Но их было много, а она одна. Её бросили на помост. Запястья и лодыжки привязали к тем же кольцам, к которым три дня назад была

привязана Овца 4.

Бен стоял в десяти шагах. Двое держали его за плечи. Заставляли смотреть.

Пастух снял передник. Под ним была всё та же белая рубашка, но теперь она казалась погребальным саваном. Он достал нож. Тот самый, с костяной рукоятью. Подошёл к Журналистке.

— Ты говорила, что мой Бог — психопат, — сказал он негромко, почти интимно. — Ты ошибаешься. Мой Бог — справедлив. Он даёт выбор. Ты выбрала прийти сюда. Ты выбрала говорить. Ты выбрала бежать. Ты выбрала бунтовать. Каждый раз тебе давали выбор, и каждый раз ты выбирала смерть. Так кто здесь психопат, дитя?

— Ты, — прохрипела она. — Ты и твой бог. Вы оба.

Он улыбнулся печально и поднял нож.

И тогда она закричала. Но не от страха.

— Сейчас! — крикнула она. — Сейчас, или никогда!

Где-то сзади, в толпе Овец, что-то хрустнуло. Короткий вскрик. Звук падающего тела.

Овца 9 стояла над упавшим Овцой 7, и в руке у неё был камень — тот самый, который она не бросила в чан, а спрятала в складках платья. Она ударила его в висок. Он рухнул, как мешок с зерном.

— Что ты делаешь?! — заорал Пастух, поворачиваясь.

И тут началось.

Овца 3, тот, что с верёвкой на поясе, бросился к нему.

Не на Пастуха — на Журналистку. Он резал верёвки на её запястьях тем самым ножом, который она просила у Овцы 9 через записку — кухонным ножом, украденным из общей столовой. Он передал его ей.

— Ты с ума сошла, — шептал он, пиля верёвку. — Мы все умрём.

— Лучше умереть, — сказала она и села, растирая руки.

Пастух стоял у помоста и смотрел. Лицо его было страшно. Не гнев — изумление. Так смотрит хозяин на взбесившийся скот. Так смотрит бог на восставшую тварь.

— Остановитесь, — сказал он. — Остановитесь, и я прощу. Остановитесь, и наказания не будет. Только она. Только чужое. А вы — мои. Вы моё стадо. Я ваш Пастух.

Овцы замерли.

Привычка была сильнее страха. Сильнее ярости. Привычка подчиняться. Привычка верить, что Пастух знает лучше. Что Пастух — отец. Что Пастух — путь.

Журналистка прыгнула с помоста. Нож она держала обеими руками. Лезвие дрожало.

— Вы слышите его? — крикнула она. — Он говорит «моё стадо», как говорят «мой скот». Вы для него скот. Вы для него вещи. Он убил мать этой девушки. Он убьёт её дочь. Он будет убивать, пока вы позволяете. Сколько ещё? Сколько имён вы закопаете, прежде чем поймёте: он не Бог. Он просто человек. Человек из плоти и крови. Человек, который боится. Посмотрите! Посмотрите на него сейчас!

Пастух действительно боялся. Впервые. На его лбу выступил пот. Он держал нож перед собой, но рука дрожала. Он не был воином. Он был мясником. Он привык резать связанных.

— Убейте её, — приказал он. — Убейте её, и всё будет как прежде. Я обещаю. Я обещаю год без жертв. Два года. Только убейте её.

Никто не двинулся.

— Я ваш Пастух! — закричал он. — Я помазанник Божий! Я говорю от Его имени! Кто против меня — против Него!

И тут Бен, стоявший в стороне, сделал шаг вперёд.

— Ты не от имени Бога, — сказал он тихо. — Бог не убивает детей. Бог не режет матерей. Ты — просто человек. Ты — злой человек. И ты — старый. Ты скоро умрёшь. И тогда мы будем свободны.

— Свободны? — Пастух расхохотался. Это был страшный смех, лающий, почти собачий. — Вы думаете, если убьёте меня, вы станете свободны? Глупцы. Вы — Овцы. Вы не умеете быть свободными. Вы сдохнете без Пастуха. Или найдёте нового. Хуже меня. Гораздо хуже. Потому что я хотя бы любил вас. По-своему, но любил. А новый будет просто голоден.

— Заткнись, — сказала Овца 9 и шагнула к нему.

Он взмахнул ножом. Она отшатнулась. Но сзади на него навалился Овца 8, кузнец, обхватил за плечи. Пастух ударил

его ножом в бедро. Кузнец взвыл, но не отпустил. Тогда по-  
доспел Овца 3, ударил Пастуха в руку — нож выпал, звякнул  
о землю. Потом подоспели другие. Не все. Только четверо.  
Остальные жались к стенам, смотрели, не вмешивались.

Его повалили на землю. Он бился, кричал, выкрикивал  
проклятия на том древнем языке, на котором пел молитвы.  
Потом на него упала тень.

Журналистка стояла над ним с камнем.

— Это за Овцу 4, — сказала она и опустила камень.

— Это за Бена.

— Это за всех, кого ты убил.

— Это... просто потому, что ты чудовище.

Камень поднимался и опускался. Крови было много. Она  
текла по земляному полу, смешиваясь с пылью. Овцы смот-  
рели. Кто-то плакал. Овца 1 упал на колени и шептал молит-  
вы. Овца 7 держался за разбитую голову и не понимал, что  
произошло.

Наконец она остановилась. Камень выпал из рук. Она сто-  
яла над телом, тяжело дыша, вся забрызганная.

— Всё, — сказала она. — Конец. Вы свободны.

Тишина.

Потом Овца 1 поднял голову и спросил дрожащим голо-  
сом:

— Что теперь?

Никто не знал.

Бен смотрел на тело Пастуха. Он лежал на спине, раски-

нув руки, лицо превратилось в кровавую маску. Посох валялся рядом. Белая рубашка стала красной. Он был похож на свои жертвы. Он был просто человек.

— Мы должны уйти отсюда, — сказала Журналистка. — Все. Собрать еду, воду. Идти к трассе. Вызвать полицию. Вы свободны.

— Свободны, — повторила Овца 5. Она попробовала слово на вкус. Оно было незнакомое.

— Я не уйду, — сказала вдруг Овца 12, хромая. — Здесь моя земля. Здесь дом. Куда я пойду? Я старый.

— И я не уйду, — сказала Овца 11. — Там, в миру, нас посадят в тюрьму. Мы убивали. Мы все убивали. Мы держали жертв. Мы голосовали. Мы соучастники.

— Но вы же не виноваты! — воскликнула Журналистка. — Он заставлял вас.

— Заставлял? — Овца 3 покачал головой. — Я сам бросил камень в твой чан. Час назад. Никто не держал мою руку.

Она замолчала. Ей нечего было возразить.

Ночь прошла в спорах.

Они сидели в общей столовой, при свечах. Тело Пастуха оставили в сарае. Никто не хотел к нему прикасаться. Никто не решался вымыть пол.

Они спорили до рассвета. Уходить или остаться. Звать полицию или хоронить молча. Что делать с детьми, с хозяйством, с оружием, с ножами.

Где-то под утро Овца 2, отец Бена, сказал:

— Нам нужен новый Пастух.

Журналистка вскинулась:

— Вы что, не поняли? Не нужно никакого Пастуха. В этом весь смысл. Вы сами. Сами решайте.

— Мы не умеем, — сказал он просто.

— Научитесь.

— Легко сказать. — Он посмотрел на неё воспалёнными глазами. — Ты завтра уйдёшь. Напишешь свою статью. Получишь премию. А мы останемся. Нам жить. Нам растить детей. Кто нас защитит? Кто нас накормит? Кто скажет, что правильно?

— Правильно — не убивать.

— А что, если придёт голод? А если придёт чума? А если кто-то согрешит? Кто решит, что делать?

— Суд. Собрание. Голосование.

— Мы голосовали сегодня. Мы выбрали тебя. — Он опустил глаза. — И мы бы смотрели, как тебя режут, если бы ты сама не...

Он не договорил.

Журналистка обвела взглядом лица. Усталые, испуганные, пустые. Она поняла: они не готовы к свободе. Свобода для них — пропасть. Пастух сорок лет вбивал в них одно: вы ничто. Вы скот. Вы не можете без меня.

И теперь он мёртв, но его слова живы. Его голос звучит в каждом из них.

— Дайте мне день, — сказала она. — Один день. Я на-

пишу правила. Законы. Как управлять фермой без Пастуха. Справедливо. Без жертв.

Она пошла в свою комнату. Бен пошёл за ней.

— Ты правда думаешь, что можно без Пастуха? — спросил он тихо.

— Можно. Нужно. Иначе всё это было зря.

— А если завтра утром кто-то наденет его передник? — тихо спросил он.

Она резко обернулась. Бен смотрел на неё серьёзно, без страха.

— Этого не будет, — сказала она.

— Ты так уверена?

— Я прослежу. Я останусь, пока они не привыкнут. Неделю. Месяц.

— Месяц — не навсегда.

— Ты просто устал. Иди спать.

Он ушёл. Она села за стол и начала писать на обрывках бумаги, найденных в комнате Пастуха. Правила. Законы. «Статья 1. Никто не имеет права лишать жизни другого человека». Рука дрожала.

Где-то в сарае, в темноте, тело Пастуха лежало в луже собственной крови. И когда луна зашла за тучи и стало совсем темно, скрипнула дверь. Кто-то вошёл в сарай — тихо, крадучись. Постоял над телом. Наклонился.

Когда луна вышла снова, тело Пастуха лежало иначе. Передник исчез. Посох исчез. Исчез и нож с костяной рукоя-

тью.

А на рассвете, когда Журналистка заснула над своими за-  
конами, в дверь её комнаты постучали. Громко. Властно.

— Кто там? — спросила она спросонья.

Голос из-за двери ответил. И сердце её остановилось на  
миг, потому что голос был низкий, спокойный, наставитель-  
ный.

Голос Пастуха.

— Благословен новый день, — сказал он. — Выходи на  
молитву.

Так кончается вторая глава.

Ибо стадо, оставшись без пастуха, рассеивается, но при-  
ходит другой пастух, и не узнают овцы лица его, ибо маска  
одна, а носящие её — многи.

*Псалом 49:21 — «Ты это делал, и Я молчал; ты подумал,  
что Я такой же, как ты. Но Я обличу тебя»*

# Завет Передника

Стук повторился. Три удара — размеренных, тяжёлых. Не просьба. Приказ.

Журналистка села на койке. Сон слетел мгновенно, как испуганная птица. Рука сама потянулась к столу, где лежал кухонный нож — тот самый, которым вчера резали верёвки. Она сжала рукоять. Дерево было липким от чужого пота.

— Кто? — спросила она ещё раз, хотя уже знала ответ. Не умом — телом. Тело узнало этот голос раньше, чем мозг успел обработать звук. Так бывает, когда слышишь шаги умершего.

— Пастух, — ответил голос за дверью. — Открой.

Она не открыла. Она встала, бесшумно, как училась в горах, когда ходила с партизанами. Прижалась спиной к стене рядом с дверью. Если он войдёт, у неё будет секунда. Меньше.

— Ты не Пастух, — сказала она. — Пастух мёртв. Я убила его. Своими руками. Камнем. Ты не можешь быть им.

— Пастух не человек. Пастух — служение. Человек умирает. Служение остаётся.

Она рванула дверь на себя, выставив нож.

За дверью стоял Овца 1. Самый старый.

Он был в переднике. Кожаном, промасленном, с тёмными пятнами — теми самыми, что были на переднике убитого.

Передник был ему велик, висел мешком на худых плечах. В левой руке он держал посох — тот самый, окованный медью. В правой — нож с костяной рукоятью. Он не поднял его. Просто держал, как держат ложку, как держат привычную вещь.

Но самое страшное было не это. Самое страшное было лицо. Вчера это было лицо загнанного, дрожащего старика, который падал на колени и шептал молитвы, пока она била Пастуха камнем. Сегодня лицо было спокойно. Даже торжественно. Оно сияло тем же тихим, усталым знанием, что сияло на лице покойного.

— Что ты делаешь? — прошептала она. — Сними это. Сними сейчас же.

— Не могу. Я избран.

— Кем? Кем избран?!

— Им. — Старик указал посохом куда-то вверх, в потолок, в небо. — Господь говорит со мной теперь. Всю ночь говорил. Я не спал. Я слушал.

— Господь? — Она шагнула вперёд, забыв о ноже. — Ты слышал, что я вчера говорила. Нет никакого бога, который требует жертв. Это всё ложь. Его ложь. Того, кто лежит в сарае с проломленной головой. Он был самозванец. Ты что, не понял? Овца 1 смотрел на неё без гнева. С жалостью. С той особенной жалостью, которую праведники испытывают к заблудшим.

— Ты не понимаешь, — сказал он. — Он не был само-

званцем. Он был истинным Пастухом. Но он стал стар. Он стал жесток сверх меры. Господь отвернулся от него за гордыню. Поэтому Господь послал тебя. Ты была орудием. Бичом. Ты наказала его. А теперь Господь избрал меня — восстановить порядок.

— Порядок? Порядок — это убийство?

— Порядок — это служение. Без Пастуха стадо гибнет. Ты сама видела вчера: мы не знаем, что делать. Мы спорили до утра. Мы как овцы без пастыря — бросаемся друг на друга, кусаемся, топчем слабых. Только Пастух даёт мир. Только жертва даёт очищение. Он учил этому сорок лет, и это правда. Единственная правда, которую мы знаем. Ты можешь уйти сегодня. Я не держу тебя. Уходи. Но не отнимай у нас то, что держит нас вместе.

Она смотрела на него. На его тонкие руки в старческих пятнах, сжимающие посох. На босые ноги, распухшие в суставах. На передник, в котором он тонул. Это был не злодей. Это был сломанный человек, который нашёл способ не сломаться окончательно. Способ, который ему дали. Способ, который был единственным.

— Ты лучше, чем он, — сказала она тихо. — Я знаю. Я видела тебя вчера. Ты плакал, когда его убивали. Ты не хотел ничьей смерти. Ты можешь быть другим Пастухом. Без жертв. Без крови. Просто старейшиной. Просто советником. Он покачал головой.

— Без жертвы нет очищения. Это как закон. Как гравита-

ция. Не я это придумал. Не он. Это шло от начала. От первого Пастуха. Тот, кто был до него. И до того. Цепь. Если я разорву цепь, мира не будет. Будет хаос.

— Откуда ты знаешь? Пробовал?

— Не надо пробовать, чтобы знать. Я знаю сердце человеческое. Я здесь шестьдесят лет. Я родился здесь. Я видел тех, кто бунтовал. Я видел тех, кто бежал. Я видел тех, кто пытался жить без Пастуха. Мой отец пытался. Когда старый Пастух умер, мой отец сказал: «Хватит». Три дня они жили без правил. На четвёртый день брат убил брата из-за одеяла. На пятый они выбрали нового Пастуха. Самого жестокого. Потому что только жестокость держит страх. А страх держит мир.

— Это неправда. Люди могут быть другими.

— Могут. Там. — Он указал посохом на восток, где за холмами лежало шоссе. — Там у вас законы, полиция, суды. А здесь — ничего. Только мы. И Бог. И нож. Это наша правда. Ты не можешь её отменить. Ты можешь только уйти.

Она опустила нож.

За спиной старика, в коридоре, собирались люди. Она видела их тени. Они стояли и слушали. Они ждали, чем кончится разговор. Они ждали, кто победит: вчерашняя свобода или сегодняшней порядок.

— Я не уйду, — сказала она. — Пока не увижу, что вы не наденете этот передник снова. Я останусь.

— Тогда выходи на молитву, — сказал Овца 1 и повер-

нулся к ней спиной. Пошёл по коридору, стуча посохом. Те-  
ни расступились перед ним. Они дали ему дорогу.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.